

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КЛАССИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА (1873 — 1950)

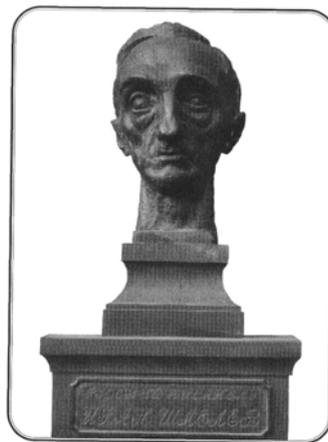
ПОСЛЕДНИЙ ПЕВЕЦ РУСИ УШЕДШЕЙ

От главного редактора. Не припомню имени, но кто-то из наших выдающихся писателей написал в своих воспоминаниях, как купил он в юности в букинистическом магазине переплетенную книгу «нивских» выпусков Гарина-Михайловского — талантливый писатель и не менее известного в до-революционной России инженера, в частности, проектировавшего и руководившего строительством и поныне главного на Южном берегу Крыма шоссе от Севастополя до Ялты. Кто ездил по этой дороге, тот помнит стелу с указанием имени строителя шоссе — в самом начале спуска от основной магистрали к бухте Батилиман, в которой в советское время располагался пионерский лагерь учебного отряда Краснознаменного Черноморского флота. Но — все это воспоминания былых дней, в другой стране...

С интересом читая купленную в бумажке книгу Михайловского (Гарин — «добавочный» псевдоним) из состава его известнейшей тетралогии «Детство Тёмы. Гимназисты. Студенты. Инженеры», автор воспоминаний, перелистнув очередную страницу, вдруг словно попал в иной художественный мир, где каждое слово весомо, а предложение или фраза заставляют сопереживать, вдумываться и думать! Что же это такое? И только встретив упоминание имени Настасьи Филипповны, сообразил: переплетчик нечаянно вставил в блок монтируемой книги также «нивский» выпуск из «Идиота».

Поясним. Журнал «Нива» в течение года издавал на дешевой газетной бумаге до десятка собраний сочинений русских и зарубежных писателей, то есть с каждым номером «Нивы» подписчик получал несколько сброшюрованных, в «дежурной» обложке из оберточной синей бумаги выпусков этих собраний сочинений, причем эти выпуски содержали по несколько глав текущего тома и могли начинаться даже не с названия главы, а просто с очередной страницы. По окончании года подписчик журнала складывал из выпусков стопки томов и относил в переплетную мастерскую. Поэтому вовсе не удивительно, что в заваленной заказами мастерской казусы навроде описанного выше случались часто.

Сходное и со мною случилось, но уже не с «нивскими» изданиями, а с советским «самиздатом» 70-х годов. Знакомый преподаватель философии из одного тульского института, такой же, как и я, страстный книголюб (не книголюб — это уже коллекционер!), по своим диссертационным делам часто ездившим в МГУ, доверитель-



Скульптурный портрет И. С. Шмелева работы Лидии Лузановской — Москва, Замоскворечье, пересечение Лаврушинского и Большого Толмачевского переулков

но поведал, что тамошние аспиранты-фарцовщики затеяли самиздатовское дело — слово «бизнес» тогда не употреблялось. Устроившись то ли ночными сторожами, а может и лаборантами с ночными дежурствами при множительной факультетской технике, они начали «выпуск» — на заказ либо на спрос — раритетных для того времени книг. Благо оригиналов, староизданных или зарубежных, в библиотеках МГУ хватало. То есть отскеривалась нужная книга и тут же, в домодельной переплетной «одевалась» в твердый переплет, почему-то обязательно синего цвета, на котором сусальным золотом оттискивались имя автора и название.

Как я понял из рассказа знакомого, наибольшим спросом пользовались книги Ницше, Фрейда, Шопенгауэра и русских философов конца XIX — начала XX века, попавших в свое время в проскрипционные списки Луначарского—Крупской... Он мне продемонстрировал несколько приобретенных им томов: все они являлись «перепечаткой» из изданий Paris: YMCA — Press и London: Oversead Publications Interchange Ltd, специализировавшихся в 1960—70-е годы на выпуске книг на русском языке.

Стоил самиздатовский том двадцать пять полновесных советских рублей. Соблазнившись, заказал пару книг: том Фрейда «Достоевский и отцеубийство» и Льва Шестова «Ясная Поляна и Астапово: К 25-летию со дня смерти Л. Толстого».

... И как в том случае с «Детством Тёмы», читая «классика русского экзистенциализма», вдруг обнаружил «перескок» со страницы 168... на 243. Правда, через десяток страниц прежняя нумерация продолжилась. Но содержание этой «вставки» поразило донельзя: ранее совершенно неизвестные персонажи: Горкин, Денис, Андрюша, Василь-Василич, пес Бушуй — и все это глазами ребенка из купеческой среды в Замоскворечье. И еще угадывалось время действия: ближе к концу XIX века. Но не в незнакомых именах дело, а в языке, настолько исконно русском, что, казалось, не молчаливую книгу читаешь, а притаившись в темном уголке людской или кухни старинного купеческого дома, слышишь и видишь наяву неторопливое действие в жг и в уют!

...В те семидесятые годы много было даже в фабрично-заводской Туле людей начитанных и много знающих, но, увы, никто не мог «вычислить» автора той вставки в самиздатовского Льва Шестова. Причем каждый из них, взяв в руки эти десять страниц, непременно говорили почти соловом в слово: да, мол, исключая новые для нас имена персонажей, включая сидящего на цепи, но собачьей душой доброго Бушуя, все настолько знакомо, настолько едва не с молоком матери впитано, что... и досадливо разводили руками.

И только в девяностые годы, когда наши «толстые» журналы начали наперегонки, а то и в параллель, печатать русских писателей-эмигрантов XX века, узнал, что Горкин, Денис, Андрюшка и старший приказчик Василь-Василич с добрым Бушуйем — из «Лета Господня» Ивана Шмелева, последнего певца Руси ушедшей, «москворецкого златоуста» (Тимофей Прокопов), о котором Анри Труайя сказал*: «В своих поисках России Иван Шмелев, сам того не сознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым». И Константин Бальмонт в точку попал, говоря, что Иван Шмелев — «самый русский из всех русских писателей».

Даже весьма и весьма скупая на добрые слова о писателях-эмигрантах «Советская энциклопедия» (большая и малая), правда, перевирая год его рождения (с 1873 на 1875-й!), пишет о Шмелеве почти что доброжелательно**: «...Его рассказы и

* Используемые здесь цитаты из Послесловия Тимофея Прокопова к книге: Шмелев И. С. Лето Господне. Богомолье: Автобиографические повествования / Сост. Т. Ф. Прокопова.— М.: Русская книга — XXI век, 2006.— 608 с. (Серия «Духовное наследие»). Из этого же издания взяты и приводимые ниже главы из «Лета Господня».

** Малая советская энциклопедия. Т. 10. 3-е изд.— М.: Гос. научн. изд-во «Советская энциклопедия», 1960.— С. 619.

повести проникнуты сочувствием социальным низам. В лучших произведениях («Гражданин Уклеikin», 1907, «Человек из ресторана», 1911, и др.) показано, как революция пробуждает в «маленьких людях» сознание социальной несправедливости, чувство человеческого достоинства. В произведениях, написанных Шмелевым после эмиграции за границу (1917), возникают религиозные мотивы («Солнце мертвых», 1923, «Лето Господне», 1933 и др.).

О Шмелеве можно много, хорошо и в охотку писать, так сказать, биографически, ибо и сам Иван Сергеевич говорил, что «мои предки сами чуть-чуть «исторические»: из староверов, из купцов замоскворецких. И жизнь самого Шмелева в России и в эмиграции очень насыщенная. Все это емко и, как сейчас говорят, информационно содержательно описано упомянутым выше Тимофеем Прокоповым. Кто не ленится — с интересом почитает.

Но совершенно невозможно (и получится малоубедительно) писать о творчестве его, особенно о главных, как Шмелев сам называл, его книгах «Лето Господне» и «Богомолье». А потому «сворачиваемся» в своих ассоциациях (см. выше) и публикуем одну из центральных глав «Лета Господня». Да пребудет оно и с вами!

Иван Шмелев

ИМЕНИНЫ

Преддверие

Осень — самая у нас именная пора: на Ивана Богослова — мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября, — отца; через два дня, мч. Евлампии, матушка именная, на Михайлов День Горкин пирует именины, а зиму Василь-Василич зачинает, — Васильев День, — и всякие уж пойдут неважные.

После Покрова самая осень наступает: дожди студеные, гололед. На дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать, спокон веку все месится. Пробовали свозить, а ее все не убывает: за день сколько подвод пройдет, каждая, плохо-плохо, а с полпудика натащит, да возчики на сапогах наносят, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит-поглядит — и махнет рукой. И Горкин резон приводит: «осень без грязи не бывает... зато душе веселей, как снежком покроет». А замостить — грохоту не оберешься, и двор-то не тот уж будет, и с лужей не сообразишься, камня она не принимает, в себя сосет. Дедушка покойный рассердился как-то на грязь, — кожаную калошу увязил, насилиу ее нащупали, — никому не сказал, пригнал камню, и мостовщики пришли, — только-только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает: увидала камень да мужиков с лопатами — с ломами — «да что вы, говорит, двор-то уродуете, земельку калечите... побойтесь Бога!» — и прогнала. А дедушка маменьку уважал и покорился. И в самый-то день ангела ее, как раз после Покрова, корезить стали. А двор наш больше ста лет стоял, еще до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и желтики веселили глаз, а тут — под камень!

За неделю до муч. Сергия-Вакха матушка велит отобрать десяток гусей, которые на Москва-реке пасутся, сторожит их старик гусиный, на иждивении. Раньше, еще когда жулики не водились, гуси гуляли без дозора, да случилось — пропали и пропали, за сотню штук. Пошли проведать по осени, — ни крыла. Рыбак сказывал: «может, дикие пролетали, ночное дело... ваши и взгомошились с ними — прощай, Москва!» С той поры крылья им стали подрезать.

На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и соленьем, так уж исстари повелось... Именины парадные, кондитер Фирсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен: советует индеек, обложить рябчиками-гарниром и соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева. Жарят гусей и на людской стол: пришлого всякого народу будет. И еще — самое-то главное! — за ужином будет «удивление», у Абрикосова отец закажет, гостей дивить. К этому все привыкли, знают, что будет «удивление», а какое — не угадать. Отца называют фантазером: уж всегда что-нибудь надумает.

Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин, Василь-Василич уж воротился из деревни, Покров справил. Сидит с нами. Тут и другой Василь-Василич, скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове, и Домна Панферовна, — из бань прислали пообдумать, обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Ондрейку кликнул, который по художеству умеет, святого голубка-то на сень приделал из лучиков, когда Царицу Небесную принимали, святтили на лето двор. Ну, и меня позвал, только велел таиться, ни слова никому, папашенька чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону уж подносили. Домна Панферовна про Четьи-Минеи помянула, а Четьи-Минеи от прабабушки остались. Василь-Василич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра, — часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается в леса-рощи, — для дорожки-то хорошо. Горкин на смех его — «кто-что, а ты все свое... «на дорожку!»» Да отец и в рот не берет по этой части. Домна Панферовна думала-думала да и бухни: «просфору серебряную, у Хлебникова видала, архиерею заказана». Архиерею — другое дело. Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. Придумал — золотое бы портмоне, а сказать побоялся, стыдно. Ондрейка тут всех и подивил:

— А я, говорит, знаю, чего надо... Вся улица подивится, как понесем, все хозяйева позавиствуют, какая слава!

Надо, говорит, огромный крендель заказать, чтобы невидано никогда такого, и понесем все на головах, на щите, парадно. Угольком на белой стенке и выписал огромный крендель, и с миндалями. Все и возвеселились, как хорошо придумал-то. Василь-Василич аршинчиком прикинул: под два пуда, пожалуй, говорит, будет. А он горячий, весь так и возгорелся: сам поедет к Филиппову, на Пятницкую, старик-то Филиппов всегда ходит в наши бани, уважительно его парят банщики, не откажет, для славы сделает... — хоть и печь, может, разобрать придется, а то и не влезет крендель, таких никогда еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель, будто хлеб-соль подносим. И чтобы ни словечка никому: вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему, и слава такая на виду, всем в пример.

Так и порешили — крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала, не по ее все вышло. Ну, она все-таки женщина почтенная, богомольная, Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала: сахаром полить — написать на кренделе: «на День Ангела — хозяину благому», и еще имя-отчество и фамилию прописать. А это скорняк придумал — «благому»-то, священным словом украсить крендель, для торжества: священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо придумали. Никогда не видано — по улице понесут, в дар! Все лавочники и хозяйева поглядят, как людей-то хороших уважают. И еще обдумали — на чем нести. Сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его, а Горкин сам выложит весь щит филенкой тонкой, вошеной, под тонкий самый паркет, — самое тонкое мастерство, два дня работы ему будет. А нести тот щит на непокрытых головах, шестерым молодцам из бань, все ровникам, а

в переднюю пару Василь-Василича поставить с правой руки, а за старшего, на передку, Горкин заступит, как голова всего дела, а росточку он небольшого, так ему подшит тот подпорочку-держалку, на мысок счита чтобы укрепить,— поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевах чтобы, а бабы-банщицы ленты чтобы к шиту подвесили, это уж женский глаз тут необходим,— Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно.

Василь-Василич тут же и покотил к Филиппову, сговориться. А насчет печника, чтобы не сумлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае печь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет, в наши бани, в «тридцатку» всегда ездит старик Филиппов, парят его приятно и с уважением,— все, мол, кланяются вашей милости, помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чей такой крендель? — скажут. Известно, чей... филипповский — знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут.

Скоро воротился, веселый, руки потирает,— готово дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся: главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям, печь смотрели,— как раз пролезет. Но только дубовой стружки велел доставить и возлучины березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумьанки чтобы, как пропекут. Дело это, кто понимает, трудное: государю раз крендель выпекали, чуть поменьше только,— «поставщика-то Двора Его Величества» охватил Филиппов! — так три раза все портили, пока не вышел. Даже пошутил старик: «надо, чтобы был кре-ндель, а не сбре-ндель!» А сладкий выпекала такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запивает, да за ним теперь приглядят. А уж после, как докажет себя, Василь-Василич уболаготворит и сам с ним уболаготворится,— Горкин так посмеялся. И Василь-Василич крепкий зарок дал: до кренделя — в рот ни капли.

Горкин с утра куда-то подевался. Говорят, на дрожках с Ондрейкой в Мазилово укатили. А мне и не сказался. А я почуял: уж не соловьиную ли клетку покупать у мужиков, клетки там делают, в Мазилове. А он надумывал соловья отцу подарить, а меня и не прихватил птиц смотреть. А все обещался мне, там всякие птицы собраны, ловят там птиц мазиловцы. Поплакал я в мастерской, и погода такая, гулять нельзя, дождь с крупой. Приехал он, я с ним ни слова не говорю. Смотрю — он клетку привез, с кумполом, в шишечках костяных-резных. Он увидел, что надулся я на него, стал прощенья у меня просить: куда ж в непогодь такую, два-раз с дрожек падали они с Ондрейкой, да и волки кругом, медведи... — насилу отбились от волков. А мне еще горше от того,— и я бы от волков отбился, а теперь когда-то я их увижу! Ну, он утешил: сейчас поедем за соловьем к Солодовкину, мазиловские совсем плохи. И поехали на Зацепу с ним.

А уж совсем стемнело, спать собирались соловьи. А Солодовкин заставил петь: органчики заиграли, такие машинки на соловьев, «дразнилки». Заслушались мы прямо! Выбрал нам соловья:

— Не соловей, а... «Хвалите имя Господне!» — так и сказал нам, трогательно, до слез.

Ради Горкина только уступил, а то такому соловью и цены нет. Не больше чтобы черного таракана на неделю скармливать, а то зажиреть может.

Повезли мы соловья, веселые. Горкин и говорит:

— Вот рад-то будет папашенька! Ну, и святой любитель Солодовка, каменный дом прожил на соловьях, по всей Расеи гоняется за ними, чуть где прознает.

В мастерской только и разговору, что про крендель. Василь-Василич от Филиппова не выходит, мастеров потчует, чтобы расстарались. Уж присылали мальчишку с Пятницкой при записке,— «просит, мол, хозяин придержать вашего приказчика, всех

мастеров смутил, товар портят, а главного выпекалу сладкого по трактирам заматал...» Горкин свои меры принял, а Василь-Василич одно и одно: «за кренделем наблюдаю!.. и такой будет крендель,— всем кренделям крендель!»

А у самого косой глаз страшной страшно, вихры торчками, а язык совсем закределился, слова портит. Прибежит, ударит в грудь кулаком — и пойдет:

— Михал Панкратыч... слава тебе, премудрому! додержусь, покелича кренделя не справим, в хозяйские руки не сдадим... ни маковой росинки, ни-ни!..

Кровь такая, горячая,— всегда душу свою готов на хорошее дело положить. Ну, чисто ребенок малый...— Горкин говорит,— только слабость за ним такая.

Накануне именин пришел хорошими ногами, и косой глаз спокойный. Покрестился на каморочку, где у Горкина лампадки светили, и говорит шепотком, как на духу:

— Зачинают, Панкратыч... Господи баслови. Взогнали тесто!..— пузырится, квашня больше ушата, только бы без закальцу вышло!..

И опять покрестился.

А уж и поздравители стали притекать, все беднота-простота, какие у нас работали, а теперь «месячное» им идет. Это отец им дает, только ни одна душа не знает, мы только с Горкиным. Это Христос так велел, чтобы правая рука не знала, чего дает. Человек двадцать уж набралось, слушают Клавнюшу Квасникова, моего четыре... четвероюродного братца, который божественным делом занимается: всех-то благочинных знает-навещивает, протодиаконов и даже архиереев, и все хоругви, а уж о мощах и говорить нечего. Рассказывает, что каждый день у него праздник, на каждый день празднуют где-нибудь в приходе, и все именины знает. Его у нас так «именинником» и кличут, и еще «крестным ходом» дядя Егор прозвал. Как птица небесная, и везде ему корм хороший, на все именины попадает. У митрополита Иоанникия протиснулся на кухню, повару просфору поднес, вчера, на именины,— Святителей вчера праздновали в Кремле,— Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а повар, как раз,— Филипп. Так ему наложили в сумку осетрины заливной, и миндального киселика в коробке, и пирогов всяких, и лещика жареного с грибами, с кашкой, с налимьим плесом. А сам-то он не вкушает, а все по бедным-убогим носит, и так ежедень. И книжечку-тетрадку показал,— все у него там приходы вписаны, кого именины будут. А тут сидела Полугариха из бань, которая в Иерусалиме была. И говорит:

— Ты и худящий такой с того, что по аменинам ходишь, и нос, как у детела, во все горшки заглядываешь на кухнях!

А Клавнюша смиренный, только и сказал:

— Нос у меня такой, что я прост, все меня за нос водят.

Значит, всем покоряется. И у него деньги выманивают, что благочинные дают ему. И что же еще сказал!..

— Остерегайтесь барина, который в красном картузе, к вам заходит... просфорок от него не принимайте!

И что же оказывается!..— Горкин даже перепугался и стал креститься. А это про барина Энтальцева. Зашел барин поздравить о. Копьева... именинник он был, благочинный нашего «сорока», от Спаса в Наливках... и поднес ему просфору за гривенник,— от Трифона-мученика, сказал. Клавнюшка-то не сказал о. благочинному, а он барина застал у заборчика в переулке: ножичком перочинным... просфорку... сам вынимает!.. «Не сказывай никому» — барин-то попросил,— «к обедне я опоздал, просфору только у просвирни захватил, а без вынудия-то неловко как-то... ну, я за него сам и помолился, и частицу вынул с молитвой, это все равно, только бы вера была». А благочинный и не заметил, чисто очень вынута частица, и дырочек наколол в головке, будто «богородичная» вышла.

И стали мы с Клавнюшей считать, сколько завтра нам кондитерских пирогов и куличей нанесут. В прошедшем году было шестьдесят семь пирогов и двадцать три кулича,— вписано у него в тетрадку. Ему тогда четыре пирога дали — бедным кусками раздавать. Завтра с утра понесут, от родных, знакомых, подрядчиков, поставщиков, арендаторов, прихожан,— отец староста церковный у Казанской,— из уважения ему и посылают. А всяких просвирок и не сосчитать. В передней плотники поставили полки — пироги ставить, для показа. И чуланы очистили для сливочных и шоколадных пирогов-тортов, самых дорогих, от Эйнема, Сиу и Абрикосова,— чтобы похолодней держать. Всем будем раздавать, а то некуда и девать. Ну, миндальные-марципаные побережем, постные они, не прокисают. Антипушка целый пирог получит. А Горкин больше куличики уважает, ему отец всегда самый хороший кулич дает, весь миндалем засыпанный,— в сухари.

Приехал Фирсанов, с поварами и посудой, поварской дух привез. Гараньку из Митриева трактира вызвал — делать редкостный соус из тертых рябчиков, как у графа Шереметьева. И дерзкий он, и с поварами дерется, и рябиновки две бутылки требует, да другого такого не найти. Говорят, забрал припасы с рябиновкой, на погребнице орудует, чтобы секрет его не подглядели. На кухне дым коромыслом, навезли повара всякого духовитого припасу, невиданного осетра на заливное,— осетровый хвостик с полка по мостовой трепался — всю ночь будут орудовать-стучать ножами, Марьюшку выжили из кухни. Она и свои иконки унесла, а то халдеи эти Святых табачищем своим задушат, после них святить надо.

Пора спать идти, да сейчас Василь-Василич от Филиппова прибежит,— что-то про крендель скажет? Уж и бежит, веселый, руками машет.

— Выпекли знатно, Михал Панкратыч!.. до утра остывать будет. При мне из печи вынали, сам Филиппов остерегал-следил. Ну, и крендель... Ну, дышит, чисто живой!.. А пекли-то... на сололке его пекли да заборчиком обставляли, чтобы не расплывался. Следили за сололкой строго... время не упустить бы, как в печь становить... не горит сололка — становь. Три часа пекли, выпекала дрожью дрожал, и не подходи лучше, убьет! Как вынать, всунул он в него, в крендель-то, во какую спицу...— ни крошинки-мазинки на спице нет, в самый-то раз. Ну; уж и красота румяная!..— «Никогда, говорит, так не задавался, это уж ваше счастье». Велел завтра поутру забирать, раньше не выпустит.

Отец и не ожидает, какое ему торжество-празднование завтра будет. Горкин щит две ночи мастерил, в украдку. Ондрейка тонкую резьбу вывел, как кружево. Увезли щит-поднос в бани, когда стемнело. Завтра, раным-рано поутру, после ранней обедни, все выборные пойдут к Филиппову. Погода бы только задалась, кренделя не испортила...— ну, в случае дождя, прикроем. Понесут на головах, по Пятницкой, по Ордынке, по Житной, а на Калужском рынке завернут к Казанской, батюшка выйдет — благословит молитвой и покропит. Все лавочники выбегут,— чего такое несут, кому? А вот, скажут,— «хозяину благому», на именины крендель! И позавиствуют. А вот заслужи, скажут, как наш хозяин, и тебе, может, поднесут... это от души дар такой придуман, никого силой не заставишь на такое.

Только бы дождя не было! А то сахарные слова размокнут, и не выйдет «хозяину благому», а размазня. Горкин погоду знает, говорит,— может, и дождичка надует, с заката ветер. На такой случай, говорит, Ондрейка на липовой досточке букочки вырезал, подвел замазкой и сусальным золотцем проложил: «съедят крендель, а досточка те и сохранится».

Три ящика горшановского пива-меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды, в соломенных колпачках, ланинской — знамени-

той, моей любимой, и Горкин любит, особенно черносморозинную и грушевую. А для протодьякона Примагентова бутылочки-коротышки «редлиховской» — содовой и зельтерской, освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином многолетие возглашать, горло-то нужно чистое. Очень бояться, как бы не перепутал: у кого-то, сказывали, забыли ему «редлиховской», для прочистки, так у него и свернулось с многолетия на... — «во блаженном усении...» — такая-то неприятность была. Слабость у него еще: в «трынку» любит хлестаться с богатыми гостями, на большие тысячи рискует даже, — ему и готовят освежение. Завтра такое будет... — и певчие пропоют-прославят, и хожалые музыканты на трубах придут трубить, только бы шубы не пропали. А то в прошедшем году пришли какие-то потрубить-поздравить, да две енотовые шубы и «поздравили». И еще будет — «удивление», под конец ужина, Горкин мне пошептал. Все гости подивятся: «сладкий обман для всех». Что за сладкий обман?..

— А еще бу-дет... вот уж бу-дет!.. Такое, голубок, будет, будто весна пришла.

— А это почему... будто весна пришла?

— А вот, потерпи... узнаешь завтра.

Так и не сказал. Но что же это такое — «будто весна пришла»? Да что же это такое... почему Ондрейка в зале, где всегда накрывают парадный ужин, зимнюю раму выставил, а совсем недавно зимние рамы вставили и замазали наглухо замазкой? Спрашиваю его, а он — «Михаила Панкратыч так приказали, для воздуху». Ну, я, правду сказать, подумал, что это для разных барынь, которые табачного курева не любят, у них голова разбалывается, и тошно им. Дядя Егор кручонки курит самые злющие, «сапшалу» какую-то, а Кашин, крестный, — вонючие сигарки, как Фирсанов. А когда они в «трынку» продуются, так хоть святых выноси, чад зеленый. А они сердятся на барынь, кричат: «не от дыму это, а облопаются на именинах, будто сроду не видали пирогов-индюшек, с того и тошни их, а то и «от причины!»! Скандал прямо, барыни на них только веерками машут.

После только я понял, почему это выставили — «для воздуху». Такое было... — на всю Москву было разговору! — самое лучшее это было, если кренделя не считать, и еще — «удивления», такое было... никто и не ожидал, что будет такая нежданность-нежданность, до слез веселых. Помню, я так и замер, от светлого, радостного во мне, — такого... будто весна пришла! И такая тогда тишина настала, так все и за-таилось, будто в церкви... — муху бы слышно было, как пролетит. Да мухи-то уж все кончились, осень глухая стала.

Празднование

Никак не могу заснуть, про именины все думаю: про крендель, про «удивление», от Абрикосова, и еще что-то особенное будет, «будто весна пришла». В прошедшем году после сладкого крема вдруг подали котлеты с зеленым горошком и молодым картофелем-подрумянкой, все так ахнули, даже будто обидно стало: да что это такое, деревенские они, что ли, — после сладкого, да отбивные котлеты! А тут-то и вышло «удивление»: из сладкого марципана сделано, а зеленый горошек совсем живой, — великое мастерство, от Абрикосова. А завтра какое будет, теперь-то уж не обманешь марципаном! Я Христом-Богом Горкина умолял сказать, — не сказал. Я ему погрозились даже, — не буду за него молиться, что-нибудь и случится с ним, детская-то молитва доходчива, всем известно. И то не сказал, запечалился только:

— Твоя воля, не молись... может, ногу себе сломаю, тебе на радость.

Оба мы поплакали, а не сказал: папашенька ему заказал сказывать. И еще я все стишки про себя наговаривал, Сонечка заставила меня выучить, сказать при гостях папашеньке, как в подарок. Длинные стишки, про ласточек и про осень, на золоти-

стой бумажке из хрестоматии Паульсона я списал. Только бы не сбиться, не запнуться завтра, все у меня выходит — «пастурций в нем огненный куст», вместо «настурций», — цветы такие, осенние. Ах, какие стишки, осень печальная будто на душе, Сонечка так сказала. И у меня слезы даже набегают, когда досказываю: «И вот, их гнездо одиноко, — они уж в иной стороне... — Далеко, далеко, далеко...» И повара еще подо мной, на кухне, кастрюлями гремят, ножами стучат... и таким вкусным пахнет, пирожками с ливером, или заливным душистым... — живот даже заболел от голода, супцу я только куриного поел за ужином. А Клавнюша спит-храпит на горячей лежанке: а подвиг голодный соблюдает, другой год не ужинает, чтобы нечистый дух через рот не вошел в него, — в ужин больше они одолевают, на сон грядущий, — странник один поведаль. И я ужинать перестать хотел, а Горкин наказал мне рот крестить, и тогда дорога ему заказана. Ну, все-таки я заснул, как петушки пропели.

Утром — солнце, смотрю, горит, над Барминихиным садом вышло. Вот хорошо-то, крендель-то понесут открыто, сахарные слова не растекутся. Отец — слышу его веселый голос — уже вернулся, у ранней обедни был, как всегда в свой именинный день. Поет в столовой любимую мою песенку — «Не уезжай, голубчик мой, — не покидай поля родные...» Господи, хорошо-то как... сколько будет всего сегодня! В доме все перевернуто: в передней новые полочки поставили, для кондитерских пирогов и куличей, в столовой «закусочная горка» будет, и еще прохладительная — воды, конфеты, фрукты; на обед и парадный ужин накроют столы и в зале, и в гостиной, а в кабинете и в матушкиной рабочей комнате будут карточные столы.

Хоть и День Ангела, а отец сам засветил все лампадки, напевая мое любимое — «Кресту-у Тво-е-му-у...» — слышал еще впросонках, до песенки. И скворца с соловьями выкупал, как всегда, и все клетки почистил, и корму задал нашим любимым птичкам. Осень глухая стала, а канарейки в столовой так вот и заливаются, — пожалуй, знают, что именины хозяина. Все может чувствовать Божья тварь, Горкин говорит.

В новом, золотисто-коричневом, костюмчике, со шнурочками и золотистыми стеклянными пуговками, я вбегаю в столовую и поздравляю отца со Днем Ангела. Он вкушает румяную просвирку и запивает сладкой-душистой «теплотцою» — кагорчиком с кипятком: сегодня он причащался. Он весь душистый, новый какой-то даже: в голубом бархатном жилете с розанами, в белоснежной крахмальной рубашке, без пиджака, и опрыскался новым флердоранжем, — радостно пахнет праздничным от него. Он весело спрашивает меня, что подарю ему. Я подаю ему листочек со стишками. Все, даже Сонечка, слушают с удивлением, как я наизусть вычитываю — «Мой сад с каждым днем увядает...» — даже «настурций» не спутал, вместо «пастурций». А когда я горько вздохнул и молитвенно выговорил-пропел, как наставляла Сонечка, — «О, если бы крылья и мне!..» — отец прихватил меня за щечку и сказал: «да ты, капитан, прямо, артист Мочалов!» — и подарил мне серебряный рубль. И все хвалили, даже фирсановские официанты, ставившие закуски на «горке», сунули мне в кармашек горячий пирожок с ливером.

И вдруг, закричали с улицы — «парадное отворяй, несут!..» А это крендель несут!..

Глядим в окошко, а на улице на-роду!!! — столько народу, из лавок и со дворов бегут, будто икону принимаем, а огромный румяный крендель будто плывет над всеми. Такой чудесный, невиданный, вкусный-вкусный, издали даже вкусный.

Впереди Горкин держит подставочку; а за ним четверо, все ровники: Василь-Василич с Антоном Кудрявым и Ондрейка с катальщиком Сергеем, который самый отчаянный, задом умеет с гор на коньках скатиться. Разноцветные ленты развеваются со щита под кренделем, и кажется, будто крендель совсем живой, будто дышит румяным пузиком.

— И что такое они придумали, чудачье!..— вскрикивает отец и бежит на парадное крыльцо.

Мы глядим из сеней в окошко, как крендель вносят в ворота и останавливаются перед парадным. Нам сверху видно сахарные слова на подрумянке:

«ХОЗЯИНУ БЛАГОМУ»

А на вошеной дощечке сияет золотцем — «...на день А н г е л а».

Отец обнимает Горкина, Василь-Василича, всех... и утирает глаза платочком. И Горкин, вижу я, утирает, и Василь-Василич, и мне самому хочется от радости заплакать.

Крендель вносят по лестнице в большую залу и приставляют полого на рояле, к стенке. Глядим — и не можем наглядеться,— такая-то красота румяная! и по всем комнатам разливается сдобный, сладко-миндальный дух. Отец всплескивает руками и все говорит:

— Вот это дак уважили... ах, ребята... уважили!..

Целуется со всеми молодцами, будто христосуются. Все праздничные, в новеньких синих чуйках, в начищенных сапогах, головы умаслены до блеска. Отец поталкивает молодцов к закускам, а они что-то упираются — стыдятся словно. «Горка» уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечеть: глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра, сардины, кильки, копченые, рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных «лодочках», посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечьей зелени во рту; и сиг аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные голоvizны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное, с лимончиками-морковками, в золотистом ледку застывшее; и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скромные и постные,— сегодня день постный, пятница,— и всякий, для аппетита, маринадец; и румяные расстегайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста, сине-красная, и почки в мадере, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане,— соленые груздирьжики...— всего и не перепробовать.

Отцу некогда угощать, все поздравители подходят. Он поручает молодцов Горкину и Василь-Василичу. Старенький официант Зернышков накладывает молодцам в тарелочки того-сего, Василь-Василич рюмочки наливает, чокается со всеми, а себе подливает из черной бутылки с перехватцем, горькой, Горкину — икемчику, молодцам — хлебного винца,— «очищенной». И старшие банщицы тут, в павлиньих шалях, самые уважаемые: Домна Панферовна и Полугариха. Все диву, прямо, даются,— как же парадно принимают! — царское, прямо, угощение.

Отец не уходит из передней, принимает народ. Из кухни поднимаются по крутой лестнице рабочие и служащие наши, и «всякие народы», старенькие, убогие, подносят копеечные просвирки-храмики, обернутые в чистую бумажку, желают здоровьица и благоденствия. В детской накрывают официанты стол с мисками, для людей попроще. Звонки за звонками на парадном. Приехали важные монахи из Донского монастыря: настоятель и казначей, большую просфору привезли, в писчей, за печатями, бумаге,— «здравную». Им подают в зале расстегаи и заливную осетрину, наливают в стаканчики мадерцы,— «для затравки». От Страстного монастыря, от Зачатьевского, от Вознесенского из Кремля — матушки-казначейши привезли шитые подзоры под иконы, разные коврики, шитые бисером подушечки. Их угощает матушка кофеем и слоеными пирожками с белужинкой. Прибывают и с Афонского подворья,— отец всегда посылает на Афон страховые пакеты с деньгами,— поют величание мученику Сергию, закусывают и колбаской, и ветчинкой: по ихнему уставу и мясное разрешается вкушать; очень лососинку одобряют.

С раннего утра несут и несут кондитерские пироги и куличи. Клавнюша с утра у ворот считает, сколько чего несут. Уж насчитал восемь куличей, двадцать два кондитерских пирога и кренделек. А еще только утро. Сестрицы в передней развязывают ленточки на картонках, смотрят, какие пироги. Говорят — кондитерский калач, румяный, из безе, посыпан толченым миндалем и сахарной пудрой, ромовый, от Фельша. Есть уже много от Эйнема, кремовые с фисташками; от Абрикосова; с цукатами, миндально-постный, от Виноградова с Мясницкой, весь фруктовый, желе ананасным залит. И еще разные: миндальные, воздушно-бисквитные, с вареньем, с заливными орехами, в зеленоватом креме из фисташек, куличи и куличики, все в обливке, в белом розовом сахаре, в потеках. Родные и знакомые, прихожане и арендаторы, подрядчики и «хозяйчики»... — и с подручными молодцами посылают, несут и сами. Отходник Пахомов, большой богач, у которого бочки ночью вывозят «золото» за заставу, сам принес большущий филипповский кулич, но этот кулич поставили отдельно, никто его есть не станет, бедным кусками раздадут. Все полки густо уставлены, а пироги все несут...

В летней мастерской кормят обедом нищих и убогих — студнем, похлебкой и белой кашей. В зимней, где живет Горкин, обедают свои и пришлые, работавшие у нас раньше, и обед им погуще и посытней: солонинка с соленым огурцом, лапша с гусиным потрохом, с пирогами, жареный гусь с картошкой, яблочный пирог, — «царский обед», так и говорят, пива и меду вволю. За хозяина Горкин, а Василь-Василича вызвали наверх, «для разборки». И что ж оказывается?..

Пришли на именины, к парадному обеду, о. Виктор с протодьяконом Примагентовым. Пропели благоденствие дому сему. О. Виктор и сообщает, что сугубая вышла неприятность: прислал записку о. благочинный нашего «сорока», Николай Копьев, от Спаса в Наливках, по соседству, почему трезвонили у Казанской, — преосвященного, что ли, встречали, или у нас нонче Пасха? А это кренделю был трезвон! Вышел о. Виктор к церкви покропить именинную хлеб-соль, а трапезник со звонарем в трезвон пустили, будто бы о. настоятель благословил ради торжества! — так им Василь-Василич загодя еще объявил, а сие ложь и соблазн великий.

— Вышла сугубая неприятность... а пуще всего, может дойти и до самого высокопреосвященного!

А помимо будущего назидания и даже кары, запретил о. благочинный трапезнику славить по приходу на Рождестве.

Василь-Василич вошел в залу опасливо, кося глазом, будто видит самое страшное, и волосы на голове у него рыжими вихрами встали, словно его таскали за волосы; и рыжая борода у него измялась, и дух от него — живой-то перегар кабацкий. А это он уж заправился сверх меры, подчюя с «горки» молодцов.

О. Виктор приказал ему говорить, как все было. Василь-Василич стал каяться, что так ему в голову вступило, «для уважения торжества». Что уж греха таить, маленько вчера усдобил трапезника и звонаря в трактире солянкой, маленько, понятно, и погрелись... ну, и дернула его нелегкая слукавить: староста, мол, церковный именинник завтра, хорошо бы из уважения трезвон дать... и о. настоятель, мол, никак не воспрещает.

— Простите, ради Христа, батюшка о. Виктор... от душевности так, из уважения торжества... хозяин-то хорош больно!

О. Виктор пораспек его:

— И неистов же ты, Василий... а сколь много раз каялся на духу у меня!

И все мы тут ужасно удивились: Василь-Василич так и рухнул в ноги о. Виктору, головой даже об пол стукнул, будто прощенья просит, как на масленице в прощенное воскресенье. Протодьякон поставил его на ноги и расцеловал трижды, сказав:

— Ну, чистое ты дите, Василич!..

И все мы прослезились. И еще сказал протодьякон:

— Да вы поглядите на сей румяный крендель! Тут, под миндалем-то, сердце человеческое горит любовью!.. ведь это священный крендель!..

И все мы стали смотреть на крендель. Всю рояль он занял, и весь — такая-то красота румяная! Тут о. Виктор и говорит:

— А, ведь, сущая правда... это не кренделю-муже трезвон был, а, воистину, — сердцу человеческому. От избытка сердца уста глаголят, в Писании сказано. А я добавлю: ...«и колокола трезвонят, даже и в неурочный час». Так и донесу, ежели владыка затребует пояснений о трезвоне.

И тут — ну прямо чудо объявилось. Бежит Михал Панкратыч и кричит истоиво:

— Сам преосвященный в карете... уж не к нам ли?!.

И что же оказалось: к нам! Отец приглашал его на парадный обед, а преосвященный надвое, в раздумчивости, сказал: «Господь приведет — попомню».

И вот, попомнил. Самое празднование тут-то и началось.

Так в сенях грохнуло, словно там стены рухнули, в зале задребезжали стекла, а на парадном столе зажужжало в бокальчиках, как вот большая муха когда влетит. А это наши певчие, от Казанской, и о. протодьякон архиерея встретили, «исполать» ему вскрикнули. Певчие шли отца поздравить, а тут как раз и архиерей подъехал. В доме переполох поднялся, народу набилось с улицы, а Клавнюша стал на колени на дворе и воспел «встречу архиерейскую». А голос у него — будто козел орет. Архиерей даже спросил, чего это юноша вопит... больной, что ли? И тут вот что еще случилось.

Архиерея под руки повели, все на него глазели, а прогорелый Энтальцев-барин, который в красном картузе ходит, с «солнышком», и нос у него сизый, перехватил у какого-то парнишки пирог от Абрикосова, с лету перехватил — сказал: «от Бутина-лесника, знаю! я сам имениннику вручу, скажи — кланяются, мол, и благодарят». И гривенник тому в руку сунул. Это уж потом узнали. А парнишка-раззява доверился и ушел. Барин отдал пирог Василь-Василичу и сказал:

— От меня, дорогому имениннику. От тетки наследство получил, вот и шикнул. Но только вы меня теперь за главный стол посадите, как почетного гостя, а не за задний стол с музыкантами, как летось, я не простой какой!

Сестры, как раскрыли пирог, так и вскричали:

— Какой чудесный! сладкая ваза с грушами из марципана! это в десять рублей пирог!..

И ромом от пирога, такое благоухание по комнатам. А это Бутин, из благодарности, что у него лес на стройки покупаем. Вечером все и разузналось, как сам Бутин поздравлять приехал, и такая неприятность вышла...

Архиерея вводят осторожно, под локотки. Слабым голосом вычитывает он что-то напевное перед иконой «Всех Праздников», в белой зале. И опять страшно грохнуло, даже в рояле гукнуло, и крендель пополз было по зеркальной крышке, да отец увидал и задержал. Архиерей стал ухо потирать, заморщился. Слабенький он был, сухонький, комарик словно, ликом серенький, как зола. Сказал протодьякону — потряс головкой:

— Ну, и наградил тя Господь... не глас у тебя, а рык львиный.

Болезно улыбнулся, благословил и милостиво дал приложиться к ручке.

Именинный обед у нас всегда только с близкими родными. А тут и монахи чего-то позадержались, пришлось и их пригласить. День выпал постный, так что духовным лицам и постникам рыбное подавали, лучше даже скоромного. И как подали преосвященному бульон на живых ершах и парочку расстегайчиков стерляжьих с зернистой икоркой свежей, «архиерейской», — такую только рыбник Колганов ест, —

архиерей и вопрошает, откуда такое диво-крендель. Как раз за его спиной крендель был, он уж его приметил, да и дух от кренделя истекал, миндально-сладкий, сдобный такой, приятный. Отец и сказал, в чем дело. И о. Виктор указал на поучительный смысл кренделя сего. Похвалил преосвященный благое рвение, порадовался, как наш христоролюбивый народ ласку ценит. А тут тетя Люба, — «стрекотуньей» ее зовут, всегда она бухнет сперва, а потом уж подумает, — и ляпни:

— Это, преосвященный владыка, не простой крендель, в нем сердце человеческое, и ему за то трезвон был!

Так и сгорели от стыда. Преосвященный, как поднял расстегайчик, так и остановился, и не вкусил: будто благословлял нас расстегайчиком, очень похоже было. Протодьякон махнул на тетю Любу, да рукавным воскрылием лиловым бутылку портвейнца и зацепил, и фужерчики на пол полетели. А о. Виктор так перепугался, что и словечка не мог сказать. А тут преосвященный и погрози, расстегайчиком: что-то ему, пожалуй, показалось, — уж над ним не смеются ли. А смеялись в конце стола, где сидели скоромники и вкушали куриный бульон со слоеными пирожками, а пуще всех барин Энтальцев, чуть не давился смехом: рад был, что посадили-таки с гостями, из уважения к пирогу.

Повелел преосвященный отцу Виктору пояснить, какой такой кренделю... трезвон был, в каком приходе? Тот укрепился духом и пояснил. И что же вышло! Преосвященный весь так ликом и просветлел, будто блаженный сделался. Ручки сложил ладошками, с расстегайчиком, и молвил так:

— Сколь же предивно сие, хотя и в нарушение благочиния. По движению сердца содеяно нарушение сие. Покажите мне грешника.

И долго взирал на крендель. И все взирал, в молчании. Только Энтальцев крикнул после очищенной и спросил:

— А как же, ваше преосвященство, попускают недозволительное? На сладости выпечено — «Благому», а сказано — что?! — «никто же благ, токмо един...»?

И не досказал, про Бога. Строго взглянул на него преосвященный и ручкой с расстегайчиком погрозил. И тут привели Василь-Василича, в неподобном виде, с перепугу. Горкин под руку его вел-волочил. Рыжие вихры Василь-Василича пали на глаза, борода смялась набок, розовая рубаша вылезла из-под жилетки. А это с радости он умастился так, что о. Виктор с него не взыскал, а даже благословил за сердца его горячность. Поглядел на него преосвященный, головкой так покивал и говорит:

— Это он что же... в себе или не в себе?

И поулыбался грустно, от сокрушения.

Горкин поклонился низко-низко и молитвенно так сказал:

— Разогрелся малость, ваше преосвященство... от торжества.

А преосвященный вдруг и признал Василь-Василича:

— А-а... помню-помню его... силач-хоругвеносец! Да воздастся ему по рвению его.

И допустил подвести под благословение.

Подвели его, а он в ножки преосвященному пал, головой об пол стукнулся. И благословил его истово преосвященный. И тут такое случилось... даже и не сказать.

Тихо стало, когда владыка благословлял, и все услышали тоненький голосок, будто дите заплакало, или вот когда лапку собачке отдавили: пи-и-и-и... Это Василь-Василич заплакал так. Повели его отдыхать, а преосвященный и говорит, будто про себя:

— И в этом — все.

И стал расстегайчик вкушать. Никто сих слов преосвященного не понял тогда: один только протодьякон понял их сокровенный смысл — Горкин мне после сказывал. Размахнулся воскрылием рукавным, чуть владыку не зацепил, и испустил рыканием:

— Ваше преосвященство, досточтимый владыка... от мудрости слово онемело!..

Никто не понял. Разобрали уже после все. Горкин мне рассказал, и я понял. Ну, тогда-то не все, пожалуй, понял, а вот теперь... Теперь я знаю: в этом жалобном, в этом детском плаче Василь-Василича, медведя видом, было: и сознание слабости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, и детскость души его, таившейся за рыжими вихрами, за вспухшими глазами. Все это понял мудрый владыка: не осудил, а благословил. Я понимаю теперь: тогда, в писке-стоне Василь-Василича, в благословении, в мудром владычнем слове — «и в э т о м — в с е!» — самое-то торжество и было.

И во всем было празднование и торжество, хотя и меньшее. И в парадном обеде, и в том, как владыка глаз не мог отвести от кренделя, ж и в о г о! — так все и говорили, что крендель в ж и в о м румянце, будто он радуется и дышит — и в особенно ласковом обхождении отца с гостями. Такого парадного обеда еще никто не помнил: сколько гостей наехало! Приехали самые почетные, которые редко навещали: Соповы, богачи Чижовы-староверы, Баренцевы, Савиновы, Кандырины... и еще, какие всегда бывали: Коробовы, Болховитиновы, Квасниковы, Каптелины-свещники, Крестовниковы-мыльщики, Федоровы-бронзовщики — Пушкину ногу отливали на памятник... и много-много. И обед был не хуже парадного ужина, — называли тогда «вечерний стол».

Уж на что владыка великий постник, — в посты лишь соленые огурцы, грузди да горошек только сухой вкушает, а и он «зачревоугодничал», — так и пошутил сам. На постное отделение стола, п о к о е м, — «П» — во всю залу раздвинули столы официанты, — подавали восемь отменных перемен, бульон на живом ерше, со стерляжьими расстегаями, стерлядь паровую — «владычную», крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху налиమ్ью, три кулебяки «на четыре угла», и со свежими белыми грибами, и с вязигой в икре судачьей, — и из лососи «отельное», и волован-огратэ, с рисовым соусом и с икорным впеком; и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора, с подливкой из грибков с каперсами-оливками, под лимончиком; и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек; и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный маседуван какой-то, в вишнях и золотистых персиках. Владыка дважды крема принять изволил, а в ананасный маседуван благословил и мадерцы влить.

И скоромникам тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки; два горячих — суп с потрохом гусиным и рассольник; рябчики заливные, отборная ветчина «Арсентьича», Сундучного ряда, слава на всю Москву, в зеленом ростовском горошке-молочке; жареный гусь под яблоками, с шинкованной капустой красной, с румяным пустотелым картофелем — «пушкинским», курячьи, «пожарские» — котлеты на косточках в ажуре; ананасная, «курьевская», каша, в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском. Просили скоромники и рыбного повкусней, а протодьякон, приметили, воскрылием укрывшись, и пожарских котлеток съел, и два куса кулебяки ливерной.

Перед маседуваном, вызвали певчих, которые пировали в детской, «на заднем столе с музыкантами». А уж они сомлели: баса Ломшакова сам Фирсанов поддерживал под плечи. И сомлели, а себя помнили, — доказали. О. протодьякон разгорелся превыше меры, но так показал себя, что в передней шуба упала с вешалки, а владыка ушки себе прикрыть изволил. Такое многолетие ему протодьякон возгласил, — никто и не помнил такого духотрясения. Как довел до... «...мно-гая лет-та-а-а...» — приостановился, выкатил кровью налитые глаза, страшные-страшные... хлебнул воздуха, словно ковшом черпнул, выпятил грудь, горой-животом надулся... — все так и замерли, будто и страх, и радость, что-то вот-вот случится... а официант старичок ложечки

уронил с подноса. И так-то ахнул... так во все легкие-нелегкие запустил... — грохот, и звон и дребезг. Все глядели потом стекло в окошке, напротив как раз протодьяконова духа, — лопнуло, говорят, от воздушного сотрясения, «от утробы». И опять многолетие возгласил — «дому сему» и «домовладыке, его тезоименитство ныне зде празднуем»... со чады и домочадцы... — чуть ли еще не оглушительнее; говорили — «и как у него не лопнет..?!» — вскрикнула тетя Люба, шикнули на нее. Я видел, как дрожали хрусталики на канделябрах, как фужерчики на столе тряслись и звякали друг о дружку... — и все потонуло-рухнуло в бешеном взрыве певчих. Сказывали, что на Калужском рынке, дворов за двадцать от нас, слышали у башни, как катилось последнее — «лет-га-а-а...» — протодьякона. Что говорить, слава на всю Москву, и до Петербурга даже: не раз оптовики с Калашниковской и богатеи с Апраксина рынка вызывали депешами — «возгласить». Кончил — и отвалился на пододвинутое Фирсановым большое кресло, — отдыхивал, отпиваясь «редлиховской» с ледком.

И так, после этой бури, упокоительно-ласково прошелестело слабенькое-владычье — «мир ти». И радовались все, зная, как сманивал «казанскую нашу славу». Город, сулил золотые горы: не покинул отец протодьякон Примагентов широкого, теплого Замоскворечья.

Пятый час шел, когда владыку, после чаю с лимончиком, проводили до кареты, и пять лучших кондитерских пирогов вставили под сиденье — «для челяди дома владычного». Благословил он всех нас — мы с отцом подсаживали его под локоток, — слабо так улыбнулся и глазки завел — откинулся: так устал. А потом уложили о. протодьякона в кабинете на диване, — подремать до вечернего приезда, до азартного боя-«трынки», которая зовется «подкаретной».

Гости все наезжают, наезжают. Пироги-куличи несут и несут все гуще. Клавнюша все у ворот считает; там и закусывал, как бы не пропустить, а просчитался. Сестры насчитали девяносто три пирога, восемнадцать больших куличей и одиннадцать полуторарублевых кренделей, а у него больше десятка не хватало: когда владыку встречал-вопил, тут, пожалуй, и просчитался.

Стемнело. И дождь, говорят, пошел. Приехал лесник Бутин, и говорит отцу:

— Ну, как, именинник дорогой, угодил ли пирожком, заказанным особливо?

А отец и не знает, какой пирожок от Бутина. Помялся Бутин: настаивать неловко, будто вот говоришь: «как же вы пирожка-то моего не уважили?» Отец сейчас же велел дознать, какой от Бутина принесли пирог. Все пироги переглядели, все картонки, — нашли: в самом высоком пироге, в самом по виду вкусном и дорогом, от Абрикосова С-ья, «по личному-особому заказу», нашли в марципанных фруктах торговую карточку — «Склад лесных матерьялов Бутина, что на Москва-реке...». Его оказался пирог-то знаменитый! А сестры спорят: «это Энтальцев-барин презентовал!» На чистую воду все и вывели: Клавнюша сам все видал, а не сказал: боялся на всем народе мошенником осрамить барина Энтальцева: греха-искушения страшился. Хватились Энтальцева, а он уж в каретнике упокояется.

К ночи гостей полон дом набился. Приехали самые важнецкие. И пироги, самые дорогие, и огромные коробки отборных шоколадных конфет — детям, парадное все такое, и все оставляется в передней, будто стыдятся сами преподнести. Уж Фирсанов с официантами с ног посбились, а впереди парадный ужин еще, и закуски на «горке» все надо освежить, и требуют прохладительных напитков. То и дело попукивают пробки, — играет «ланинская» вовсю. Прибыли, наконец, и «живоглоты»: Кашин-крестный и дядя Егор, с нашего же двора: огромные, тяжелые, черные, как цыганы; и зубы у них большие, желтые; и самондравные они, не дай Бог. Это Василь-Василич их так прозвал — «живоглоты». Спрашиваю его: «а это чего, живоглоты... глотают

живых пескариков?» А Горкин на меня за это погрозился. А я потому так спросил, что Денис принес как-то с Москва-реки живой рыбки, Гришка поймал из воды пескарика и проглотил живого, а Денис и сказал ему: «ишь ты, живоглот!» А они потому такие, что какими-то вексельками людей душат, и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить.

Сейчас же протодьякона разбудили, на седьмом сне,— швыряться в «трынку». Дядя Егор поглядел на крендель, зачвокал зубом, с досады словно, и говорит:

— «Благому»!.. вот дурачье!.. Лучше бы выпекли — «плохому!».

А отец и говорит, грустно так:

— Почему же — «плохому»? разве уж такой плохой?

А дядя Егор, сердито так, на крендель:

— Народишко балуешь-портишь, потому!

Отец только отмахнулся: не любит ссор и дразг, а тут именины, гости. Был тут, у кренделя, протодьякон, слышал. Часто так задышал и затребовал парочку «редлиховских-кубастеньких», для освежения. Выпил из горлышка прямо, духом, и, будто из живота, рыкнул:

— А за сие ответишь ты мне, Егор Васильев... полностью ответишь! Сам преосвященный хвалу воздал хозяину благому, а ты... И будет с тобой у меня расправа строгая.

И пошла у них такая лихая «трынка» — все ахнули. И крик в кабинете был, и кулаками стучали, и весь-то кабинет рваными картами закидали, и полон угол нашвырял «кубастеньких» протодьякон, без перерыву освежался. И «освежевал», — так и возопил в радости, — обоих «живоготов». Еще задолго до ужина прошвыряли они ему тысяч пять, а когда еще богачи подсели, — всех догола раздел, ободрал еще тысяч на семь. Никто такого и не помнил. Бил картой и приговаривал, будто вколачивал:

— А кре-ндель-миндал... ви-дал?..

Суд-расправу и учинил. Не он учинил, — так все и говорил, — а... «кре-ндель, на правде и чистоте заквашенный». А учинив расправу, размахнулся: сотнягу молодцам отсчитал, во славу Божию.

Ужин был невиданно парадный.

Было — «как у графа Шереметьева», расстарался Фирсанов наш. После заливных, соусов-подливок, индеек с рябчиками-гарниром, под знаменитым рябичным соусом Гараньки; после фаршированных каплунов и новых для нас фазанов — с тонкими длинными хвостами на пружинке, с брусничным и клюквенным желе, — с Кавказа фазаны прилетели! — после филе дикого кабана на вертеле, подали — вместо «удивления»! — по заказу от Абрикосова, вылитый из цветных леденцов душистых, в разноцветном мороженом, светящемся изнутри — живой «Кремль»! Все хвалили отменное мастерство. Отец и говорит:

— Ну, вот вам и «удивление». Да вас трудно и удивить, всего видали.

И приказал Фирсанову:

— Обнеси, голубчик, кто желает прохладиться, арбузом... к Егорову пришли с Кавказа.

Одни стали говорить — «после такого мороженого да арбузом!..». А другие одобрили: «нет, теперь в самый раз арбузика!..»

И вносит старший официант Никодимыч, с двумя подручными, на голубом фаянсе, — громадный, невиданный арбуз! Все так и загляделись. Темные по нем полосы, наполовину взрезан, алый-алый, сахарно-сочно-крупчатый, светится матово слезой снежистой, будто иней это на нем, мелкие черные костянки в гнездах малинового мяса... и столь душистый, — так все и услышали: свежим арбузом пахнет, влажной,

прохладной свежестью. Ну, видом одним — как сахар прямо. Кто и не хотел, а захотели. Кашин первый попробовал — и крикнул ужасно непристойно — «а, черрт!..» Ругнул его протодьякон — «за трапе-зой такое слово!..» И сам попался: «вот-дак ч... чуде-сия!..», и вышло полное «удивление»; все попались, опять удивил отец, опять «марципан», от Абрикосова С-ья.

И вышло полное торжество.

А когда ужин кончился, пришел Горкин. Он спал после обеда, освежил и Василь-Василича. Спрашиваю его:

— А что... говорил-то ты... «будто весна пришла»? бу-дет, а?..

Он мне мигает хитро: бу-дет. Но что же будет?

Фирсанов велит убирать столы в зале, а гостей просят перейти в гостиную, в спальню, откуда убраны ширмы и кровати, и в столовую. «Трынщиков» просят чуть погодить, проветрить надо, шибко накурено, головы болят у барынь. Открыли настезь выставленные в зале рамы. Повевало свежестью снаружи, арбузом будто. Потушили лампы и пылкие свечи в канделябрах. Обносят — это у нас новинка,— легким и сладким пуншем; для барынь — подносы с мармеладом и пастилой, со всякими орешками и черносливом, французским, сахарным и всякой персидской сладостью...

И вдруг... — в темном зале, где крендель на рояле, заиграл тихо, переливами, детский простой органчик, какие вставляются в копилочки и альбомчики... нежно-нежно так заиграл, словно звенит водичка, радостное такое, совсем весеннее. Все удивились: да хорошо-то как, простенькое какое, милое... ах, приятно! И вдруг... — соловей!.. живой!.. Робея, тихо, чутко... первое свое подал, такое истомно-нежное,— ти-пу... ти-пу... ти-пу... — будто выкликает кого, кого-то ищет, зовет, тоскуя...

Солодовкин-птичник много мне после про соловьев рассказывал, про «перехватцы», про «кошечку», про «чмоканье», про «поцелуйный разлив» какой-то...

Все так и затаились. Дышать стало трудно, от радости, от счастья — вернулось лето! ...Ти-пу, ти-пу, ти-пу... чок-чок-чок-чок... третрррррр... — но это нельзя словами. Будто весна пришла. Умолк органчик. А соловушка пел и пел, будто льется водичкой звонкой в горлышке у него. Ну, все притихли и слушали. Даже дядя Егор, даже ворчунья Надежда Тимофеевна, скряга-коровница, мать его...

Чокнул в последний раз, рассыпал стихавший трелью — и замолчал. Все вздохнули, заговорили тихо: «как хорошо-то... Го-споди!..» — «будто весной, в Нескучном...».

Поздно, пора домой: два пробило.

Горкин отцу радость подарил, с Солодовкиным так надумал. А отец и не знал. Протодьякон разнежился, раскинулся на креслах, больше не стал играть. Рывкнул:

— Горка!.. гряди ко мне!..

Горкин, усталый, слабый, пошел к нему, светясь ласковыми морщинками. Протодьякон обнял его и расцеловал, не молвя слова. Празднование закончилось.

Отец, тихий, задумчивый, уставший, сидел в уголку гостиной, за филодендроном, под образом «Рождества Богородицы», с догоравшей малиновой лампадкой. Сидел, прикрывши рукой глаза.

